

# **Журнал "Новый журнал"**

**№ 10, 1945**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Ж92

Ж92 Журнал "Новый журнал": № 10, 1945 / – М.: Книга по Требованию, 2022. – 401 с.

**ISBN 978-5-458-66637-4**

«Новый Журнал» — ежеквартальный литературно-публицистический журнал русского зарубежья. Журнал начал выходить с 1942 года в Нью-Йорке как продолжение парижских «Современных Записок». Авторами журнала были И. Бунин, А. Солженицын, И. Бродский, а также В. Набоков, Г. Адамович, Г. Иванов, Б. Зайцев, Г. Федотов, Ф. Степун и многие другие писатели и публицисты российской эмиграции.

**ISBN 978-5-458-66637-4**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

[www.samizday.ru/reprint](http://www.samizday.ru/reprint)



## ФРАНКЛИН Д. РУЗВЕЛЬТ\*)

Президент Рузвельт пришел к власти в пору экономического кризиса, небывалого в истории Соединенных Штатов. За двенадцать лет его правления американский народ дошел до степени материального благосостояния, невиданной и неслыханной в мировой истории. Правда, в силу одного из странных экономических парадоксов нашего времени, это благосостояние отчасти связано с войной. Однако, пора благоденствия началась в С. Штатах до войны и, по общему мнению экономистов, не кончится по наступлении мира.

Для Америки война началась с Перл Харбора; Германия была тогда чрезвычайно могущественна. В день кончины президента американские войска находились в 57 милях от Берлина; Япония терпела поражение за поражением.

Этих двух фактов достаточно, чтобы обеспечить государственному человеку то, что называется бессмертием. Конечно, нельзя утверждать, что все это было единоличной заслугой Рузвельта. Ничто в истории никогда не было заслугой т о л ь к о правителя: ни реформы Петра, ни победы Наполеона, ни дела Линкольна. Но это было п р и Рузвельте. Если бы результаты оказались плохими, ответственность была бы возложена на него. В какой мере его личное воздействие сказывалось на ходе событий в Америке и на фронтах, сказать особенно трудно именно потому, что на него возводились обвинения, противоречивые и взаимно исключаящиеся: обвиняли его и в том, что он «слабый безвольный человек», и в том, что он диктатор. «Диктатор» — при полной свободе слова в окружающей стране, при совершенно свободных, ни на день не откладываемых выборах, при строгом соблюдении конституции!

Ненавидела его преимущественно так называемая «крупная буржуазия». А он, быть может, ее спас в 1932 году: тогда попытка устройства социальной революции была в Соединенных Штатах вполне возможна. Как бы то ни было, прошлогодние выборы показали, что социально-экономическую про-

---

\*) Copyright 1945 by the Ney Review («Новый Журнал») All rights reserved.

грамму Рузвельта, вызывавшую когда-то такое негодование, теперь принимают почти целиком и Дьюи, и Хувер, и даже Лэндон. В «четыре-х свободах» и, в частности, в «свободе от нужды» не было по существу ничего нового, но лозунг облетел мир — благодаря президенту Соед. Штатов. Тут человек красил место и место красило человека.

С несколько большим, быть может, основанием, Рузвельта обвиняли в том, что он окружал себя людьми, которых лучше было бы держать от власти подальше. Здесь, однако, обобщения неуместны и невозможны. Да и какого правителя в этом не обвиняли? Ведь порою обвинения исходили от людей, тщетно пытавшихся стать помощниками, сотрудниками, советчиками президента. Людовик XIV говорил: «Назначая кого бы то ни было на какую бы то ни было должность, я заранее знаю, что создаю одного неблагодарного и десять недовольных». — Во всяком случае военных вождей покойный президент выбрал и назначил превосходных.

Без компромиссов прийти к власти трудно, а удержаться у нея надолго почти невозможно. Но история знает немного государственных людей, у которых в политической жизни насчитывалось бы так мало компромиссов, как у Рузвельта. В некрологах принята фраза: «Личных врагов у него не было». Фраза наивная в тех случаях, когда она говорится искренно: личные враги в с е г д а есть. Однако, у могилы президента, кажется, все враги его, с определенностью, делающей честь и им, и политическим нравам Америки, признали верность Рузвельта его главным идеям, благородство его характера, его основную черту: доброту и благожелательность к людям. С этой чертой он пришел к власти и сохранял ее двенадцать лет, — случай в истории почти беспримерный.

Не обойдем здесь молчанием факта, имеющего только личное значение. Из сотрудников «Нового Журнала» многие обязаны покойному президенту свободой, а иные и жизнью. В изъятие из общих правил, по ходатайству людей ему известных, он, не задумываясь, никого ни о чем не запрашивая, распорядился о немедленной выдаче виз довольно большому числу русских политических деятелей и писателей, которые в 1940 году находились во Франции и которым бежать было некуда. Надо было бы обладать редкой способностью к неблагодарности, чтобы не упомянуть об этом и в маленькой заметке, посвященной памяти очень большого государственного деятеля.

**РЕДАКЦИЯ.**

## ЧИСТЫЙ ПОНЕДѢЛЬНИК

Темнѣл московскій сѣрый зимній день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освѣщались витрины магазинов — и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дѣл московская жизнь: гуще и бодрѣй неслись извозищичьи санки, тяжелѣй гремѣли переполненные, ныряющіе трамваи, — в сумракѣ уже видно было, как с шипѣніем сыпались с проводов зеленыя звѣзды, — оживленнѣе спѣшили по снѣжным тротуарам мутно чернѣющіе прохожіе... Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысакѣ мой кучер — от Красных Ворот к Храму Христа-Спасителя: она жила почти против него; каждый вечер я возил ее обѣдать в «Прагу», в «Эрмитаж», в «Метрополь», послѣ обѣда в театры, на концерты, а там к Яру, в «Стрѣльну»... Чѣм все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно — так же, как и говорить с ней об этом, она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношенія, — совсѣм близки мы все еще не были; и все это без конца держало меня в неразрѣшающемся напряженіи, в мучительном ожиданіи чего-то — и вмѣстѣ с тѣм был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возлѣ нея.

Она зачѣм-то училась на курсах, довольно рѣдко посѣщала их, но посѣщала. Я как-то спросил: «Зачѣм?» Она пожала плечом: «А зачѣм все дѣлается на свѣтѣ? Развѣ мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кромѣ того, исторія интересует меня...». Жила она одна, — вдовый отец ея, просвѣщенный человек знатнаго купеческаго рода, жил на покоѣ в Твери, что-то, как всѣ такіе купцы, собирал. В домѣ против Храма-Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этажѣ, всего двѣ комнаты, но просторныя и хорошо

обставленныя. В первой много мѣста занимал широкой турецкій диван, стояло дорогое піанино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало «Лунной сонаты», — только одно начало, — на піанино и на подзеркальникѣ цвѣли в граненых вазах нарядные цвѣты, — по моему приказу ей доставляли каждую субботу свѣжіе, — и когда я прїѣзжал к ней в субботній вечер, она, лежа на диванѣ, над которым зачѣм-то висѣл портрет босого Толстого, неспѣша протягивала мнѣ для поцѣлуя руку и разсѣянно говорила: «Спасибо за цвѣты...». Я привозил ей коробки шоколаду, новыя книги, — Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевскаго, — и получал все то-же «спасибо» и протянутую теплую руку, иногда приказаніе сѣсть возлѣ дивана, не снимая пальто: «Непонятно, почему, — говорила она в раздумьи, глядя мой бобровый воротник, — но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимняго воздуха, с которым входишь со двора в комнату...». Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цвѣты, ни книги, ни обѣды, ни театры, ни ужины за городом, хотя всетаки цвѣты были у нея любимыя и нелюбимыя, всѣ книги, какія я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду с'ѣдала за день цѣлую коробку, за обѣдами и ужинами ѣла не меньше меня, любила растегаи с налимьей ухой, розовых рябчиков в крѣпко прожаренной сметанѣ, иногда говорила: «не понимаю, как это не надоѣст людям всю жизнь, каждый день обѣдать, ужинать», но сама и обѣдала и ужинала с московским пониманіем дѣла. Явной слабостью ея была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мѣх...

Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губерніи, был в ту пору красив почему-то южной, горячей красотой, был даже «неприлично красив», как сказал мнѣ однажды один знаменитый актер, чудовищно толстый человек, великій обжора и умница, — «чорт вас знает, кто вы, сициліанец какой-то», сказал он сонно; и характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбкѣ, к доброй шуткѣ. А у нея красота

была какая-то индiйская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолѣпные и нѣсколько зловѣщiе в своей густой чернотѣ волосы, мягко блестящiя, как черный соболiй мѣх, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; плѣнительный бархатисто-пунцовыми губами рот отгнѣн был темным пушком; выѣзжая, она чаще всего надѣвала гранатовое бархатное платье и такія же туфли с золотыми застежками (а на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за тридцать копѣек в вегетарианской столовой на Арбатѣ); и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала; лежа на диванѣ с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядѣла перед собой: я это видѣл, заѣзжая иногда к ней и днем, потому что каждый мѣсяц она дня три-четыре совсѣм не выходила и не выѣзжала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сѣсть в кресло возлѣ дивана и молча читать.

— Вы ужасно болтливы и непосѣдливы, — говорила она, — дайте мнѣ дочитать главу...

— Если бы я не был болтлив и непосѣдлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас, — отвѣчал я, напоминая ей этим наше знакомство: как-то в декабрѣ, попав в Художественный Кружок на лекцію Андрея Бѣлаго, который пѣл ее, бѣгая и танцуя на эстрадѣ, я так вертѣлся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в креслѣ рядом со мной и сперва с нѣкоторым недоумѣніем смотрѣвшая на меня, тоже наконец размѣялась, и я тотчас весело обратился к ней.

— Все так, — говорила она, — но все-таки помолчите немного, почитайте чтонибудь, покурите...

— Не могу я молчать! Не представляете вы себѣ всю силу моей любви к вам! Не любите вы меня!

— Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что, кромѣ отца и вас, у меня никого нѣт на свѣтѣ. Во всяком случаѣ вы у меня первый и послѣдній. Вам этого мало? — Но довольно об этом. Читать при вас нельзя, давайте чай пить...

И я вставал, кипятил воду в электрическом чайникѣ на столикѣ за отвалом дивана, брал из орѣховой горки, стоявшей в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря, что придет в голову:

— Вы дочитали «Огненнаго Ангела»?

— Досмотрѣла. До того высокопарно, что совѣстно читать.

— А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина?

— Не в мѣру разудал был. Желтоволоосу Русь вообще не люблю.

— Все-то вам не нравится!

— Да, многое...

«Странная любовь!» думал я и, пока закипала вода, стоял, смотрѣл в окна. В комнатѣ пахло цвѣтами, и она соединялась для меня с их запахом; за одним окном низко лежала вдали огромная картина зарѣчной снѣжно-сизой Москвы; в другое, лѣвѣе, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в мѣру близко, бѣлѣла слишком новая громада Христа-Спасителя, в золотом куполѣ котораго синеватыми пятнами отражались галки, вѣчно вившіяся вокруг него... «Станный город! — говорил я себѣ, думая об Охотном рядѣ, об Иверской, о Василии Блаженном. — Василий Блаженный — и Спас на Бору, итальянскіе соборы — и что-то киргизское в остріях башен на кремлевских стѣнах...».

Пріѣзжая в сумерки, я иногда заставал ее на диванѣ только в одном шелковом архалукѣ отороченном соболем, — наслѣдство моей астраханской бабушки, сказала она, — сидѣл возлѣ нея в полутьмѣ, не зажигая огня, и цѣловал ея руки, ноги, изумительное в своей гладкости тѣло... И она ни чему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ея жаркія губы — она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владѣть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свѣтъ, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящійся табуретик возлѣ піанино и постепенно приходил в себя, остывал от горячаго дурмана. Через четверть часа она выходила

из спальни одѣтая, готовая к выѣзду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим:

— Куда нынче? В «Метрополь», может быть?

И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскорѣ послѣ нашего сближенія, она сказала мнѣ, когда я заговорил о бракѣ:

— Нѣтъ, в жены я не гожусь. Почему, не знаю. Но не гожусь, не гожусь...

Это меня не обезнадежило, — «там видно будет!» — сказал я себѣ в надеждѣ на переменѣ ея рѣшенія со временем и больше не заговаривал о бракѣ. Наша неполная близость казалась мнѣ иногда невыносимой, но и тут — что оставалось мнѣ, кромѣ надежды на время? Однажды, сидя возлѣ нея в этой вечерней темнотѣ и тишинѣ, я схватился за голову:

— Нѣтъ, это выше моих сил! И зачѣм, почему надо так жестоко мучить меня и себя!

Она промолчала.

— Да, всетаки это не любовь, не любовь...

Она ровно отозвалась из темноты:

— Может быть. Кто же знает, что такое любовь?

— Я, я знаю! — воскликнул я. — И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье!

— Счастье, счастье... «Счастье наше, дружок, как вода в бреднѣ: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нѣту».

— Это что?

— Это так Платон Каратаев говорил Пьеру.

Я махнул рукой:

— Ах, Бог с ней, с этой восточной мудростью!

И опять весь вечер говорил только о постороннем — о новой постановкѣ Художественнаго Театра, о новом рассказѣ Андрева... С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тѣсно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мѣхѣ шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш из «Аиды», ѣм и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которыя цѣловал час тому назад, — да, цѣловал, цѣловал, говорил я себѣ, с

восторженной благодарностью глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал груди, обоняя какой-то слегка пряный запах ея волос, думая: «Москва, Астрахань, Персія, Индія!». В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумнѣй становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелья, вела меня иногда в отдѣльный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакинѣ с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка-запевало с низким лбом под дегтярной чолкой... Она слушала пѣсни с томной, странной усмѣшкой... В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой, на под'ѣзде, закрывая от счастья глаза, цѣловал в мокрый мѣх воротника и в каком-то восторженном отчаяніи летѣл к Красным Воротам. И завтра и послѣ-завтра будет все то же, — думал я, — все та же мука и все то же счастье... Ну что ж — всетаки счастье, великое счастье!

Так прошел январь, февраль, пришла и прошла масленица. В Прощеное воскресенье она приказала мнѣ пріѣхать к ней в пятом часу вечера. Я пріѣхал, и она встрѣтила меня уже одѣтая, в короткой каракулевой шубкѣ, в каракулевой шляпкѣ, в черных фетровых ботиках.

— Все черное! — сказал я, входя, как всегда, радостно. Глаза ея были ласковы и тихи:

— Вѣдь завтра уже Чистый понедѣльник, — отвѣтила она, вынув из каракулевой муфты и давая мнѣ руку в черной лайковой перчаткѣ. — «Господи Владыко живота моего...» Хотите поѣхать в Новодѣвичій монастырь?

Я удивился, но поспѣшил сказать:

— Хочу!

— Что ж все кабаки да кабаки, — прибавила она. — Вот вчера утром я была на Рогожском кладбищѣ...

Я удивился еще больше:

— На кладбищѣ? Зачѣм? Это знаменитое раскольничье?

— Да, раскольничье. Допетровская Русь! Хоронили ихнего

архіепископа. И вот представьте себѣ: гроб — дубовая колода, как в древности, золотая парча, будто кованная, лик усопшаго закрыт бѣлым Воздухом, шитым крупной черной вязью — красота и ужас. А у гроба діаконы с рипидами и трикиріями...

— Откуда вы это знаете? Рипиды, трикирії!

— Это вы меня не знаете.

— Не знал, что вы так религіозны.

— Это не религіозность. Я не знаю, что... Но я, напримѣр, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевскіе соборы, а вы даже и не подозрѣваете этого... Так вот: діаконы — да какіе! Пересвѣт и Ослябя! И на двух клиросах два хора, тоже все Пересвѣты: высокіе, могучіе, в длинных черных кафтанах, поют, перекликаясь, — то один хор, то другой, — и все в унисон и не по нотам, а по «крюкам». А могила была внутри выложена блестящими еловыми вѣтвями, а на дворѣ мороз, солнце, слѣпит снѣг... Да нѣтъ, вы этого не понимаете! Идем...

Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпично-красных стѣнах монастыря болтали в тишинѣ галки, похожія на монашенок, куранты то и дѣло тонко и грустно играли на колокольнѣ. Скрипя в тишинѣ по снѣгу, мы вошли в ворота, пошли по снѣжным дорожкам по кладбищу, — солнце только что сѣло, еще совсѣм было свѣтло, дивно рисовались на золотой эмали заката сѣрым кораллом сучья в инеѣ и таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимыя лампадки, разсѣянные над могилами. Я шел за ней, с умилеіем глядѣл на ея маленькій слѣд, на звѣздочки, которыя оставляли на снѣгу новые черные ботики — она вдруг обернулась, почувствовав это:

— Правда, как вы меня любите! — сказала она с тихим недоумѣніем, покачав головой.

Мы постояли возлѣ могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфтѣ, она долго глядѣла на чеховскій могильный памятник, потом пожала плечом:

— Какая противная смѣсь сусальнаго русскаго стиля со стилем Художественнаго Театра!

Стало темнѣть, морозило, мы медленно вышли из ворот, возлѣ которых покорно сидѣл на козлах мой Федор.

— Поѣздим еще немножко, — сказала она, — потом поѣдем ѣсть послѣдніе блины к Егорову... Только не шибко Федор, — правда?

— Слушаю-с.

— Гдѣ-то на Ордынкѣ есть дом, гдѣ жил Грибоѣдов. Поѣдем его искать...

И мы зачѣм-то поѣхали на Ордынку, долго ѣздили по каким-то переулкам в садах, были в Грибоѣдовском переулкѣ; но кто-ж мог указать нам, в каком домѣ жил Грибоѣдов, — прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоѣдов? Уже давно стемнѣло, розовѣли за деревьями в инеѣ освѣщенные окна...

— Тут есть еще Марфо-Маринская обитель, — сказала она.

Я засмѣялся:

— Опять в обитель?

— Нѣтъ, это я так...

В нижнем этажѣ в трактирѣ Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одѣтыми извощиками, рѣзавшими стопки блинов, залитых сверх мѣры маслом и сметаной, было парно как в банѣ. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозавѣтные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, гдѣ в углу, перед черной доской иконы Богородицы Троеручицы, горѣла лампадка, сѣли за длинный стол на черный кожаный диван... Пушок на ея верхней губѣ был в инеѣ, янтарь щек слегка розовѣл, чернота райка совсѣм слилась с зрачком, — я не мог отвести восторженных глаз от этого инея. А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты:

— Хорошо! Внизу дикіе мужики, а тут блины с шампанским и Богородица Троеручица. Три руки! Вѣдь это Индія! Вы — барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву.